

О ТОМ, ЧТО И КАК ПИШУТ В НАШИ ДНИ О А. С. ПУШКИНЕ, или О ДЕВАЛЬВАЦИИ ВЫСОКОГО ЗВАНИЯ «ПУШКИНИСТ»

Разговор на названную тему (основной пафос которого можно определить словом *тревожный*) начну с примера, вызвавшего у меня в свое время нечто близкое к культурному шоку. Может быть, подобное состояние испытывают и читатели «Вестника», знающие со школьной скамьи роман в стихах «Евгений Онегин» и разделившие вслед за поэтом глубокую симпатию к Татьяне Лариной и с ностальгией вспоминающие романтические отношения так рано погибшего Ленского и Ольги. Сам Пушкин охарактеризовал близость влюбленных так:

*И что ж? Любовью упоенный,
В смятенье нежного стыда,
Он только смеет иногда,
Улыбкой Ольги ободренный,
Развитым локоном играть
Иль край одежды целовать.*

(Глава IV, строфа XXV)

А теперь познакомимся с той интерпретацией «любви» этих известных

персонажей, которая дается в брошюре О. Червинской с высокомерным заголовком: «Пушкин. Набоков. Ахматова. Метаморфозы русского лирического романа» [1].

Провозглашая «рецептивную эстетику», проповедующую «актуализацию интерпретационной деятельности», О. Червинская пишет: «Для меня, в отличие от других комментаторов, весь текст романа наполняет слово *супруг* самым прямым смыслом». (Имеется в виду строка из предсмертных стихов Ленского: *Сердечный друг, желанный друг, // Приди, приди: я твой супруг!*) Иначе говоря, «скопропалительное замужество» Ольги объясняется необходимостью прикрыть якобы ее добрачный грех. Оказывается, совсем не случайно, по мнению О. Червинской, Онегин сравнил Ольгу с «Вандиковой Мадонной». Завидная проницательность, приписываемая герою романа, явно расходится со словами самого Пушкина:

Он иногда читает Оле
Нравоучительный роман,
В котором автор знает более
Природу, чем Шатобриан,
А между тем две, три страницы
(Пустые бредни, небылицы,
Опасные для сердца дев)
Он пропускает, покраснев.

(Глава IV, строфа XXVI)

«Рецептивная эстетика» в интерпретации О. Червинской оборачивается пошлостью и невиданным еще в пушкиниане пренебрежительным отношением к авторскому тексту.

Такое же недоумение вызывает доклад Вл. Микушевича, напечатанный отнюдь не где-нибудь в захолустье, а в «Материялах международной конференции» 1999 г. (юбилейной конференции!), которые появились под грифом Российской академии наук. Статья названа интригующе «Тайна Татьяны Лариной» [2]. Форма статьи Вл. Микушевича — полемика (в скобках заметим — весьма примитивная) с В. Г. Белинским [3] по поводу пассажа критика, разбиравшего ставшие хрестоматийными слова Татьяны: *Но я другому отдана, / Я буду век ему верна*. Процитирую Белинского: «Но я другому отдана, а не отдалась! Вечная верность кому и в чем? Верность таким отношениям, которые составляют профанацию чувств и чистоты женственности, потому что некоторые отношения, не освященные любовью, в высшей степени безнравственны».

Содержание же статьи Вл. Микушевича, не соответствующее названию, связано с раскрытием тайны не героини романа, а ее мужа: «Вполне обосновано предположение, — читаем мы в статье, — увчье толстого генерала в том и состоит, что оно не позволяет ему быть “мужем”, что не секрет ни для автора, ни тем более его родни и друга Онегина».

Но ошеломляет читателя не только «вполне обоснованное предположение», как его именует автор, но и «методы» аргументации (если позволительно использовать в данном случае это слово из науч-

но-исследовательского лексикона). Поправляя Белинского, Вл. Микушевич замечает: «Глагол “отдалась”, предлагаемый Белинским, не только неуместен, но и невозможен в ситуации Татьяны Лариной». Аргументировано же это с лингвистической точки зрения более чем некорректно: «По всей вероятности, Татьяна говорит по-французски и о том, что она другому отдана». Нарекания Белинского вызывает глагол «*donner*», которому он предпочел бы «*se donner*», хотя Татьяна могла употребить или подразумевать глагол «*se consacrer*» (посвятить себя или быть посвященной)».

Однако читатель хорошо усвоил, что «русская душою» Татьяна Ларина лишь пишет по-французски, и перевод ее письма на русский предстает в романе как целая поэтическая история — вплоть до лирической просьбы поэта, обращенной к Баратынскому: «Чтоб на волшебные напевы переложил ты страстной девы иноплеменные слова». Спор с Белинским, выстроенный некорректно, воспринимается еще и по формуле «много шума из ничего». Сопоставление «отдана» и «отдалась» приведено Белинским, видимо, не столько для характеристики Татьяны, сколько для провозглашения общего принципа: «некоторые отношения, не освященные любовью, в высшей степени безнравственны», кроме того знаменитому критику была по душе ориентация на игру слов. А здесь она налицо.

Как же доказывается некоторая интимность в отношении «увчья генерала»? Оказывается, с той же легкомысленностью, порождающей беспрецедентный произвол в толковании самых очевидных и незатейливых диалогов. Ключевым в данном случае оказывается диалог на петербургском рауте между Онегиным и князем-генералом, мужем Татьяны:

«Да кто ж она?» — «Жена моя.»
«Так ты женат! не знал я ране!»
«Давно ли?» — «Около двух лет.»
«На ком?» — «На Лариной.» — «Татьяне!»
— «Ты ей знаком?» — «Я им сосед».

Комментируя этот разговор двух старых приятелей, Вл. Микушевич называет реплику Онегина («Так ты женат!») «недоуменным вопросом» и объясняет недоумение Онегина тем, что тот знает об интимной драме старого воина. Автору публикации и в голову не приходит, что назначение этого диалога связано с передачей недоумения, вызванного, однако, не князем, а Татьяной, вдруг представившей перед ним не «девочкой несмелой, влюбленной, бедной и простой», но законодательницей светских зал. И «ударной репликой» в этом диалоге следует считать не «Так ты женат!», а «Татьяне!» (Кстати, у Пушкина эти реплики сопровождаются отнюдь не вопросительными, а восклицательными знаками — у Микушевича цитата искажена.)

Столь заметное внимание к статье Вл. Микушевича может быть воспринято тоже как «много шума из ничего». Но, к сожалению, похожие огрехи обнаруживаются и в работах профессионалов.

К 200-летию со дня рождения вышел содержательный сборник, посвященный «Повестям Белкина» [4]. Многие его статьи — новое слово о прозе Пушкина. Убедительно, например, рассмотрение «Метели» в качестве святочного рассказа в статье И. Л. Поповой «Смех и слезы в «Повестях Белкина»». Но и в этой работе не обошлось без модного поветрия: «разгадывания недосказанных тайн». На этот раз развенчивается случайность встречи после войны Мары Гавrilovны с Бурманным. Оказывается, в начале 1812 года обманутая невеста узнала в женихе-самозванце своего соседа по другому имени и поэтому после окончания войны переселилась из Ненарадова в *** ское поместье, предчувствуя, что только там она сможет обрести своего «случайного» мужа. Но ведь этой догадке И. Л. Поповой противоречит прежде всего финальная сцена «Метели», сцена объяснения героини с неожиданно обретенным мужем:

— Боже мой, боже мой! — сказала Марья Гавrilovna, схватив его руку, — так это были вы! И вы не узнаете меня?

Бурмин побледнел... и бросился к ее ногам...

Этой догадке И. Л. Поповой противоречит и общий замысел пушкинского цикла, содержательным стержнем которого является определение роли Случая в человеческой жизни и судьбе.

Представляется также некой натяжкой и сближение «Скупого рыцаря» и стихотворения «Поэту» в интересной статье Т. П. Волохонской «Дуэли Пушкина и его героев» [5]. Приводя цитату из монолога Барона (*Я царствую!... Какой волшебный блеск // Послушна мне, сильна моя держава...*), Т. П. Волохонская так это комментирует: «Как-то очень непросто, не впрямую, но эти слова соотносятся с другими пушкинскими стихами тридцатого года, обращенными к поэту: *Ты царь, живи один. Дорогою свободной // Иди, куда влечет тебя свободный ум, // Усовершенствуя плоды любимых дум, // Не требуя наград за подвиг благородный. // Они в самом тебе...* Своя свобода есть и у Барона». Да, есть, но она достигнута золотом, она синоним власти. Не то в пожеланиях Пушкина поэту, который нуждается в свободе духа, в усовершенствовании «плодов любимых дум».

Возможность появления такого рода интерпретаторских ходов при анализе художественного наследия Пушкина не может не настораживать. Чем же, однако, можно объяснить появление подобных интерпретаций?

Если, даже не очень пристально, взглянуть на «плоды» (любимое пушкинское слово!) пушкинистики за последние два десятилетия, то можно легко заметить исчезновение в ней собственно исследовательского пафоса, подмену фундаментальных научных трудов эссеистикой, в которой много домыслов, предположений, иначе говоря — неприкрытого авантюризма. Удивительно, но повторяется ситуация, которая смущала Пушкина в его

время и о которой он писал: «В наше время главный недостаток, отзывающийся во всех почти ученых произведениях, есть отсутствие труда. Редко случается критике указывать на плоды долгих изучений и терпеливых разысканий. Что же из этого происходит? Наши так называемые «ученые» принуждены заменять существенные достоинства изворотами более или менее удачными: порицанием предшественников, новизною «взглядов», приоровлением модных понятий к старым, давно известным предметам и пр. Таковые средства (которые в некотором смысле можно назвать шарлатанством) не подвигают науки ни на шаг, поселяют жалкий «дух сомнения и отрицания» в умах незрелых и слабых и печалят людей истинно ученых и здравомыслящих».

Приведенные толкования текстов Пушкина можно воспринимать как забавные курьезы. Можно в них обнаружить еще и нарциссизм, о чем писал М. Л. Гаспаров, характеризуя одно из негативных явлений современной филологии.

Печальная, увы, развертывается перед нами картина нынешней пушкинистики. Но что же происходит в пушкиноведении, если под ним подразумевать собственно научные труды, посвященные Пушкину? Ведь на исследования современных **настоящих пушкинистов** вся надежда, и думается, что обоснованная. Стоит присмотреться к публикациям С. Г. Бочарова, В. Э. Вацуро, Н. К. Гея, В. Непомнящего, С. А. Кибальника, Н. Н. Скатова и др., и станет ясно, что традиции подлинной исследовательской методологии в литературоведении не только живы, но обогащаются новым научным опытом и его талантливой реализацией.

Тем не менее и серьезная наука не оказалась свободна от тематических и идеологических перекосов. Пушкиноведение можно упрекнуть в том, что оно слишком увлеклось разоблачением советского прочтения Пушкина. Исследуются не столько собственные тексты великого поэта и его современников, а вскрываются пороки

советских методологических и текстологических подходов к Пушкину. Этот разоблачительный пафос появляется даже в блестательно выполненных текстологических изысканиях. Сошлюсь в данном случае на статью М. Шапира «Какого «Онегина» мы читаем?» [6], в которой автор обнаруживает и эрудицию, и проникновение в пушкинское слово, и стилистическое чутье. Приведу пример с несомненностью это доказывающий: «Прагматика переплеталась с семантикой:

*Она казалась в ~~т~~рный снимок
Di somme il faut... < >***, прости:
Не знаю, какъ перевести.*

Звездочки обладают многозначительностью: на их место можно подставлять разные имена. По всей вероятности, Пушкин метил в Шишкова: в беловике — *Ш** ... *прости*; но адресат этой «полемической выходки» современникам был неочевиден. По прочтении 8-й главы Кюхельбекер записал в дневнике: «<...> нападки на *** не очень кстати (я бы этого не должен говорить, ибо очень узко себя самого под этим гиероглифом, но скажу стихом Пушкина ж: «Мне истина всего дороже»)». Тынянов, не зная автографа, полагал правильной «расшифровку Кюхельбекера:

*...Вильгельм, прости,
Не знаю, как перевести».*

Скорее всего оба заблуждались, но оправданием их ошибки может послужить фамильярное *прости*, уместное по отношению к лицейскому товарищу и не совсем уместное в полемике с престарелым адмиралом, которого Пушкин называл не иначе как «ваше высокопревосходительство» и который был на сорок пять лет старше автора романа в стихах. Конечно, поэтическое *ты* не равно бытовому: со времен Ломоносова одописец обращался на «ты» даже к высочайшей особе. Но ведь «Евгений Онегин» — не ода: современникам казалось (и это поражало больше всего), что Пушкин «рассказывает вам

роман *первыми* словами, которые срываются у него с языка». В восстановлении фамилии «Шишкова», а не имени «Вильгельм» М. Шапир безусловно прав.

Большинство «поправок» М. Шапира к академическому изданию (редактор онегинского тома Б. В. Томашевский) убедительны. Однако некоторые из них настораживают. Создается впечатление, что их появление спровоцировано общим выводом автора статьи: «Нетрудно показать, что “борясь” с царской цензурой, Томашевский и другие участники юбилейного собрания сочинений выполняли социальный заказ: их “борьба” была приспособлением пушкинского текста к идеологическим нуждам современности».

Ссылка в данном случае на статью М. Шапира появилась лишь затем, чтобы показать, что даже весьма осведомленный и глубокий филолог оказался в пленах модных пристрастий.

Что же касается общей характеристики пушкинских работ последнего периода, то о них следует сказать, что многие из них главным образом посвящены разоблачению трех «советских тезисов»: Пушкин — последовательный атеист, Пушкин — яростный борец с самодержавием, Пушкин — пророк (проповедник) и в последнюю очередь поэт (эстет). Слов нет, бороться с советской идеологией, искающей реальный образ поэта, необходимо. Но беда в том, что во многих публикациях односторонность одного пристрастного взгляда прямолинейно подменяется односторонностью противоположного плана: Пушкин — примерный христианин, Пушкин — монархист (в лучшем случае — консерватор и как следствие «Послание в Сибирь»* разбирается как призыв к компромиссу с царем даже у известного фундаментальными исследованиями о Пушкине В. С. Непомнящего).

* В работах, посвященных лирике Пушкина, стихотворение, именуемое по первой строке «Во глубине сибирских руд», нередко называется «Послание в Сибирь».

В пушкиноведении понимание этого стихотворения, написанного в духе гражданской лирики, включающего в себя мотивы воззрений декабристов (*Темницы рухнут и свобода // Вас примет радостно у входа*), весьма осложнялось тем, что почти одновременно поэт написал обращение к Николаю I «Стансы», где возможность освобождения мыслится лишь «по милости царя». А прибегая даже к поверхностному собственно лексическому анализу, нельзя не увидеть разное «словесное обрамление» в этих двух вещах слова *надежда*, являющегося одним из ключевых. В «Послании в Сибирь»:

*Несчастью верная сестра,
Надежда в мрачном подземелье
Пробудит бодрость и веселье,
Придет желанная пора.*

В «Стансах»:

*В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.*

(Ср. также однокоренные слова *мрачное подземелье* и *мрачили* мятежи и казни. Если в первом случае *мрак* связывается с жестокостью наказания, то во втором — с мятежом.)

В советский период нашей истории «Стансы» (особенно в школьном преподавании) чаще всего замалчивались и, наоборот, всячески подчеркивался революционный пафос «Послания в Сибирь»: Пушкина во что бы то ни стало надо было представить декабристом.

В наши дни, когда слишком очевидно проявилось стремление прямолинейно поменять все идеино-эстетические оценки событий и поступков людей на прямо противоположные, появился соблазн «перечитать» по-другому и «Послание в Сибирь». Между тем мировоззренческая эволюция Пушкина была уже достаточно убедительно показана в конце XIX в. Якушкиным: «Его общественные идеи в сущности остались те же, но ... в письма к

друзьям Пушкин уже высказывается против “бунта и революции”. Он видит, что революция не удалась, понимает, что повторение ее невозможно и нежелательно, он считает необходимыми другие, мирные, дозволенные средства... Хочет действовать не против силы вещей, не против правительства, а по возможности с ним, через него».

Однако от соблазна по-другому истолковать «Послание в Сибирь» не удержался и В. Непомнящий [7]. Его «Судьба одного послания» написана очень интересно, с привлечением и анализом всех 20 оставшихся списков стихотворения (при жизни Пушкина оно напечатано не было, Герцен впервые опубликовал его лишь в 1856 г.), с предложением целого ряда остроумных гипотез — словом, в лучших традициях пушкиноведения. И тем не менее его собственно текстовый анализ, тоже в целом впечатляющий, в ряде случаев смущает отношением к поэтическому слову как к слову обыденному, с неожиданной для В. Непомнящего потерей той особой чуткости к поэтизму, которая ему свойственна. Разбирая последнюю строку «Послания в Сибирь»: *И братья меч вам отадут*, исследователь пишет: «Однако какие основания были у Пушкина для подобных обещаний и каких “продолжателей” он мог иметь в виду? ... Но даже если отвлечься от фантастичности “обещания”, — почему именно “отадут” (в семи списках исправлено — “подадут”)? И откуда у них возьмется этот меч (“Меч вам отадут” — читается в двух списках)? И для чего они его “отадут” или “подадут”? Для продолжения освободительной борьбы? Но зачем она будет нужна, если “свобода вас примет радостно у входа”, то есть к этому моменту уже победит? Или эта целая далеко идущая программа, не только обещающая революционный переворот, но и предвидящая задачи утверждения завоеваний и их разрешения?» Легко заметить, что в этой «программе текстологического анализа», к которому стремится исследователь, обнаруживают-

ся явно нетекстологические подходы к поэтическому Слову. У поэта отбирается право на допустимые (а иногда необходимые) логические пропуски.

Значительное внимание уделяется В. Непомнящим анализу третьей строфы послания:

*Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас.*

По его мнению, совсем не случайно она отсутствует в трех списках и, что особенно важно, в списке, к которому был причастен близкий друг Пушкина С. Соболевский, в доме которого поэт и писал послание. Стремление «опустить» эту строфиу В. Непомнящий объясняет тем, что вклинившаяся «целая строфа “Любовь и дружество до вас...”, тормозящая стремительный ход воззвания», перемещала мысль «в совсем иной план» и явно снижала «наступательный пафос». И еще: «она производила впечатление какой-то иородной, необязательной в “сюжете” стихотворения». Это вполне объясняет психологию переписчиков послания, но, с исследовательской точки зрения, требует некоторых дополнительных оговорок. Они связаны как с необходимым учетом современных общетеоретических установок, связанных с рассмотрением художественного произведения, так и с большей ориентацией при таком рассмотрении на исторический и биографический контексты.

В первом случае имеется в виду прежде всего теория Адресата (Н. Д. Арутюнова и др.), а также концепция М. М. Бахтина о «чужом слове». Если сказать об этих теориях в самом общем виде (а следовательно, — весьма упрощенно), то речь идет о том, что поиски языковых и композиционных художественных средств, которые предпринимает писатель (и шире — пишущий), во многом предопределяются адресатом. Для пишущего весьма важно КОМУ направляется «сочиненное». А это

требует, в свою очередь, создания более тесного языкового контакта с адресатом, в частности и «заимствований» (в самом широком смысле слова) из речевого арсенала «другого». В приобщении к «чужому слову» реализуется важный бахтинский постулат «Я и другой», обеспечивающий, в конечном счете, все человеческие взаимодействия, в том числе и коммуникативные. С участниками 14 декабря 1825 г. надо общаться на принятом ими языке — отсюда возвращение Пушкина к пафосу гражданской лирики 1820-х гг., покорявшему молодые свободомыслящие умы тех лет.

Во втором случае (имеется в виду историко-биографический контекст) речь идет о невозможности не сопоставлять «Во глубине сибирских руд» с исторической встречей поэта с Николаем I, когда в начале сентября 1826 г. Пушкина по распоряжению царя привезли в Москву на встречу с новым императором. Часть беседы пересказал сам поэт: «Император долго беседовал со мною и спросил меня: “Пушкин, если бы ты был в Петербурге, принял ли бы ты участие в 14 декабря?” — “Неизбежно, Государь, все мои друзья были в заговоре, и я был бы в невозможности отстать от них”».

Имея в виду это смелое пушкинское признание царю, нельзя не увидеть отзвук этих не столько мыслей, сколько чувств, в «Послании в Сибирь», отзвук, связанный с былыми захватывающими и ум, и сердце надеждами молодости, увы, утопическими. Оставаясь в плену чувств, далеко не сразу подчиняешься силе рассудка. В каком-то смысле это стихотворение есть поэтический пересказ откровенного ответа Пушкина царю о неизбежности его участия в декабристском выступлении, о его тогдашнем самоощущении, о преданности товариществу. Здесь важны, главным образом, не слова сами по себе, а передача настроя чувств, пафоса. Если вспомнить формулу самого Пушкина: «Иду союза волшебных звуков, чувств и дум», то здесь волшебные звуки и чувства, дейст-

вительно, оказываются на первом месте. «Думы» же представлены скорее лишь как факт размышлений прошлых лет, во многом совпадающих с воззрениями декабристов. Это духовное и идеиное прошлое поэта. Будущее же, его собственное и России, включая и политических изгнанников, связано с Николаем I, которому поэт осмеливается в «Стансах» дать совет:

Семейным сходством будь же горд:
Во всем будь пращуру подобен:
Как он, неутомим и тверд,
И памятью, как он, незлобен.

Известно, что «Стансы» встретили одни с осуждением — сочувствующие декабристам, другие (их порицающие) — с удовлетворением. Поэтому было вполне естественным возникновение вопроса о том, как объяснить одновременное появление двух таких идеологически разных посланий. Не лукавит ли поэт в одном из них? И даже — не лицемер ли Пушкин?

Конечно, нет. Пушкин — поэт, «сын гармонии» (по выражению А. Блока), для которого задача КАК писать решается в зависимости от ответов на вопросы: КОМУ? О ЧЕМ? ПОЧЕМУ? (в самом широком значении этого местоименного наречия), ЗАЧЕМ?

Важнейшим же для формирования содержательно-стилевой ауры стихотворения является в данном случае компонент КОМУ?

Читатель данных заметок может упрекнуть автора в несоразмерности представленных сюжетов, в явной «перегрузке» сюжетной линии, посвященной посланию «Во глубине сибирских руд». Оправдание в этом видится в одном существенном обстоятельстве: в необходимости показать на хрестоматийном примере, как могут меняться идеологические оценки в зависимости от общественно-политического климата.

Говоря о поветрии (в чем-то весьма понятном) менять плюсы на минусы в интерпретации творчества Пушкина, нельзя пройти мимо религиозной тематики. В

советский период нашей истории поэта почти безоговорочно представляли атеистом. Тот пересмотр духовных установок, который был свойственен поэту в особенности в 30-е гг., старались замалчивать. Представляется, что наиболее убедительную формулировку характеристики духовной эволюции дал В. Ходасевич: «Как вся религиозная жизнь Пушкина была лишь искание веры, так и здесь проявилось лишь искание христианской кончины. ... Велик и прекрасен Пушкин такой, каким был. И если кто из нас хоть в малейшей доле приблизится к его смиренной, не пророческой, а всего лишь поэтической высоте, — как уже много этого» [8].

Однако во многих современных статьях на эту тему в качестве исходного тезиса избираются вырванные из контекста слова С. Франка о том, что Пушкин был «одним из глубочайших гениев русского Христианского духа» [9].

Некоторую прямолинейность в подходе к этой сложнейшей теме можно усмотреть даже в работах глубоких профессионалов, обнаруживающих и в данном случае недостаточную тщательность в собственно лингвистическом осмыслении произведения и, как следствие, не дистанцирующих в своем изложении собственно авторское высказывание от так называемого несобственно-авторского (несобственно-прямого), то есть такого, когда автор строит свою речь, широко используя слова и мысли своего персонажа, в каком-то смысле словно его подменяя, надевая его словесную маску.

Снова обращусь к интерпретации произведения из школьной программы — к «Борису Годунову». На этот раз имеется в виду широко задуманная и обстоятельная статья В. А. Котельникова «О религиозно-нравственном отношении к слову у русских поэтов». В. А. Котельников находит очень верные слова для описания восприятия истории «русским иноком-летописцем» Пименом: «В правдивых сказаниях Пимена русская история очищается, просветляется, восходит ввысь, к Божьему

суду — и потому несет на себе отсвет Истины. Только как принадлежащая Богу она имеет настоящий смысл. Без этого выхода из мира дольного в горнюю область», и как следствие: «без религиозно-нравственного взгляда на характеры и события, без “типа русского инока-летописца” “Борис Годунов” не был бы подлинно великим произведением».

Повторю, если эту цитату рассматривать во многом как несобственно-авторскую, приписываемую самому Пимену, то она убедительна. Но некоторое недоумение появляется тогда, когда автор (В. А. Котельников) говорит от себя: «Нужна открытая перспектива к Богу, чтобы игра страстей, волнение умов, преступления и подвиги — всё, чем преисполнена история, — не оставалось хаосом, а находило должное место в космосе» [10]. Ощущается некая подмена литературоведческого изыскания богословским. Вряд ли такая подмена оправдана.

В истории любой страны случаются периоды пересмотра идеологических пристрастий. Но такой пересмотр должен сопровождаться истинной новизной подхода, а не просто — говоря словами самого Пушкина — «порицанием предшественников», приоравливанием модных понятий к старым, давно известным предметам.

Представляется, прав был Е. Эткинд, когда писал: «И каждый, клеймя другого, кричит о поэзии Пушкина: “Мое!” А ведь на самом деле сказать “мое” не может никто: творчество Пушкина не допускает простых решений, примитивно-политических или элементарно-идеологических альтернатив. ... Пожалуй, ни один из больших национальных поэтов не подвергался таким целенаправленным искажениям, как Пушкин» [11].

И еще. В период, когда отменена идеологическая цензура (что хорошо), почти не проявляет себя научная (что, видимо, имеет определенный плюс), у нас оказалась почти полностью утраченной цензура редакторского здравого смысла, не говоря уже о нравственной самоцензуре. Многие

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

оказались подвержены не просто «писательскому зуду», а, что значительно вреднее, — «публикаторскому», провоцируемому девизом: «во что бы то ни стало напечататься», не обременяя себя заботой о

качестве. Вот и вырастают горы такой печатной продукции, которые не просто бесполезны, но ведут к научному и нравственному разложению молодых ученых. А это весьма и весьма тревожно.

Примечания

1. Червинская О. Пушкин. Набоков. Ахматова. Метаморфозы русского лирического романа. Черновцы, 1999.
2. Микушевич Вл. Тайна Татьяны Лариной // Пушкин через двести лет: Материалы международной конференции. М., 2000.
3. Белинский В. Г. Собрание сочинений: В 10 т. М., 1958. Т. 10.
4. Повести Белкина. М., 1999.
5. Волохонская Т. П. Дуэли Пушкина и его героев // Пушкинская эпоха и христианская культура. Вып. III. СПб., 1993.
6. Шапир М. Какого «Онегина» мы читаем? // Новый мир. 2002. № 6.
7. Непомнящий В. Пушкин. Избранные работы 1960–1990 гг. М., 2001.
8. Ходасевич В. Статья С. Н. Булгакова «Жребий Пушкина» // Пушкин в русской философской критике (конец XIX — первая половина XX в.). М., 1996.
9. Томилов В. Г. Александр Пушкин как выразитель и олицетворение отечественной духовности // Пушкинская эпоха и христианская культура. Вып. V. СПб., 1994.
10. Котельников В. А. О религиозно-нравственном отношении к слову у русских поэтов // Пушкинская эпоха и христианская культура. Вып. V. СПб., 1994.
11. Эткинд Е. Г. Божественный глагол. Пушкин, прочитанный в России и во Франции. М., 1999. С. 398.